

Ярослав Северцев



РАЗРЕЗ ВОЛКОВИЧА

Книга 1

ЧУЖИЕ РУКИ

18+

Ярослав Северцев

**Разрез Волковича.
Книга 1 Чужие руки**

«Автор»

2026

Северцев Я.

Разрез Волковича. Книга 1 Чужие руки / Я. Северцев — «Автор», 2026

Он был богом современной трансплантологии. Его имя гремело на весь мир, а руки совершали чудеса, граничащие с фантастикой. Но в момент величайшего триумфа, прямо в стерильном коридоре ведущего института, сердце гения остановилось. Конец? Нет, только начало. Он очнулся в сырой грязи альтернативного Петербурга конца XIX века. Вокруг — нищета Сенной, дикие законы воровских банд и медицина, которая больше похожа на средневековую бойню. Вместо холеных пальцев хирурга — слабые, грязные ладони 18-летнего бездомного сироты Сашки. Вместо стерильных операционных и современных антибиотиков — гнилая солома ночлежек, дегтярное мыло и самодельные инструменты. Чтобы просто выжить в доставшемся теле, ему придется заставить это темное время повернуться лицом к будущему. Его ждет медленный, тяжелый путь со дна медицинской иерархии — сквозь кровь, поражения, интриги высокомерных заграничных врачей и смертоносный яд дворянской зависти.

© Северцев Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. На острие иглы	6
Глава 2. Линия излома	10
Глава 3. Медный грош	12
Глава 4. Законы Сенной площади	14
Глава 5. Прозекторская и цена долга	17
Глава 6. Горькие травы	19
Глава 7. Ведро и мрамор	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Ярослав Северцев
Разрез Волковича. Книга 1 Чужие руки
Том 1: Первичная обработка

Глава 1. На острие иглы

— Четвертый ноль, пролен. Атравматику дай, Тамара, не спи.

Мой голос в микрофоне маски звучит глухо, монотонно. Это режим работа. Когда ты стоишь за столом одиннадцатый час, эмоции — это роскошь, которая убивает пациента. На операционном столе под лампами бестеневого осветителя — распластанное, распятое на фиксаторах тело тридцатидвухлетнего парня. Его собственное сердце сейчас лежит в лотке для отходов — увеличенное, дряблкое, источенное кардиомиопатией, похожее на перезрелую сливу.

На мониторах над нашими головами — ровная изолиния. Полный ноль. Пациент технически мертв. Его жизнь сейчас циркулирует по пластиковым шлангам аппарата искусственного кровообращения — АИК хрипит за моей спиной, перегоняя литры оксигенированной, насыщенной кислородом бордовой крови. Но сегодня мы не просто меняем мотор. Мы впервые в мире пересаживаем комплекс: сердце вместе с бифуркацией трахеи и обоими легкими единым блоком. Трансплантат — парный, чистый, упругий — лежит рядом в ледяной каше физраствора, ожидая своего часа.

— Артур, крючки шире. Держи угол, не вали лопатку, мне не видно левое предсердие, — не глядя на первого ассистента, бросаю я.

Артур дышит тяжело, шумно. Парень талантливый, но на таких объемах начинает «плыть» — руки устают. Я вижу, как у него дрожит правая бранша зеркала. Он перехватывает инструмент, кость хрустит под нажимом. Его характер я знаю как свои пять пальцев: амбициозен, но паникует, если анатомия идет не по учебнику. Сейчас он сжимает зубы, под маской ходит желвак, но угол держит. Молодец. Вырастет в хирурга.

Тамара — наша операционная сестра, прошедшая со мной три сотни резекций и все круги адских ночных дежурств — реагирует без слов. Стоило мне лишь пошевелить пальцами правой руки, как в ладонь с сухим щелчком ложится иглодержатель с тончайшей, почти невидимой нитью. Ей не нужно говорить «дай». Она читает траекторию моей кисти. На ее лбу блестит пот, но движения экономные, выверенные до миллиметра. Она не суетится. Суета в операционной — это признак скорого кладбища.

— Поехали. Анастомоз левого предсердия. Шьем от угла.

Я наклоняюсь ниже. Бинокулярные лупы на моих очках приближают операционное поле. Ткани донора и реципиента нужно сопоставить так, чтобы не было ни малейшего натяжения, ни одного микроскопического зазора. Один неверный вкол — и при пуске кровотока под давлением в сто сорок миллиметров ртутного столба сосуд просто разорвет. Это будет фонтан, который мы не остановим.

— Отсос, — коротко команду я.

Наконечник отсоса в руках Артура мгновенно убирает натекшую лимфу.

— Зажим. Еще зажим. Артур, придержи нить, держи натяжение, не давай петле распуститься.

Мои пальцы работают на автомате. Десятилетия практики превратили руки в прецизионные манипуляторы. Вкол — выкол. Вкол — выкол. Нить ложится ровными стежками, как на дорогом костюме. Задняя губа анастомоза готова. Переходим на переднюю. Конференц-зал за стеклом наверху, где сидят десятки профессоров и журналистов, следящих за трансляцией на экранах, сейчас для меня не существует. Пусть смотрят. Пусть затаивают дыхание. Главное — чтобы АИК не подвел и миокард не выдал фибрилляцию после согревания.

— Тамара, ножницы.

Короткий металлический лязг. Лишний конец пролена срезан.

— Промываем полости. Физраствор, теплый.

Артур льет из шприца жидкость в раскрытую грудную клетку. Мы вымываем пузырьки воздуха. Аэроэмболия — воздушная пробка в сосудах мозга — это то, из-за чего успешная операция может превратиться в пересадку органов «овощу».

— Заполняем сердце. Готовимся к снятию зажима с аорты. Перфузиолог, что с температурой? — кричу я через плечо специалисту, управляющему АИКом.

— Тридцать шесть и два, Герман Герасимович. Согрели. Газы крови в норме, электролиты скорректированы, — отзывается из угла спокойный, слегка механический голос перфузиолога.

— Отлично. Внимание бригады. Снимаю зажим.

Моя рука в каучуковой перчатке ложится на тяжелый металлический бранш, перекрывающий главную артерию страны по имени Пациент. Секундная пауза. Все замерли. Артур перестал дышать. Тамара застыла с лотком.

Я плавно разжимаю кремальеру. Зажим снят.

Теплая, обогащенная кровь хлынула во вшитый комплекс. Бледные, спавшиеся донорские легкие тут же расправились, наливаясь здоровым розовым цветом под первыми каплями тепла. Сердце... Сердце пока молчит. Оно наполняется, раздувается в геометрии грудной клетки. Оно выглядит чужим, слишком большим для этого истощенного парня.

Секунда. Пять секунд. Десять. В операционной слышен только писк мониторов и мерный гул насоса.

— Анестезиолог, готовь дефибриллятор, — негромко говорю я, чувствуя, как под лопаткой начинает противно ныть старая грыжа. — Приготовили ложки.

И в этот момент по правому желудочку пробегает едва заметная судорожная волна. Сердце делает ленивый, неловкий кувырок. За ним — второй. Словно просыпающийся спрсонья тяжелоатлет, оно пытается поймать ритм.

Бум. Бум.

На мониторе изолиния резко ломается вверх, рисуя высокий, красивый зубчик R.

— Есть синусовый! — выдыхает Артур, и в его голосе прорывается неприкрытый, почти детский восторг.

— Рано радоваться, держи крючок, — осаживаю я его, хотя внутри разливается глухое, сытое торжество. — Снижаем производительность АИКа. Переходим на собственное обеспечение. Анестезиолог, давай ИВЛ. Задувай легкие.

Меха поршней аппарата искусственной вентиляции легких приходят в движение. Грудина пациента мерно, глубоко поднимается. Сердце бьется само. Семьдесят два удара в минуту. Давление — сто десять на семьдесят. Ровное, как по учебнику. Трансплантат встал как родной. Нигде не подтекает, анастомозы сухие.

— Гемостаз идеальный. Артур, зашиваешь кожу и подкожку сам. Послойно. Стальные скобы на грудину. Тамара, контролируй счет салфеток и инструмента. Всем спасибо, коллеги. Это победа.

Я отхожу от стола. Ноги ниже колен каменные, не чувствуют тапочек. Спина не разгибается. Тамара подходит сзади, развязывает тесемки моего халата. Я сбрасываю перчатки в бак — они влажные изнутри от пота. Снимаю маску. Лицо горит.

В операционную лавиной вваливается заведующий отделением, за ним — парочка замов с сияющими лицами.

— Герман Герасимович! Это триумф! Исторический момент! Пресса беснуется, министр уже на проводе! — кричит зав, пытаясь обнять меня за испачканное плечо.

Я отстраняюсь, устало улыбаясь:

— Дайте до ординаторской дойти, мужики. Чайку попить. Поздравлять будете, когда парень из наркоза выйдет и сам дышать начнет через трое суток.

Я выхожу в коридор. Длинный, чистый, залитый белым кафельным светом коридор ведущего института страны. Шаг. Еще шаг. Сзади слышны возбужденные голоса бригады, Артур что-то весело доказывает Тамаре, звенят инструменты, складываемые в крафт-пакеты для автоклава.

И вдруг мир делает странный, противоестественный оборот.

В левом плече взрывается тупая, невероятно тяжелая боль. Она не просто болит — она мгновенно, за долю секунды прошивает руку до самых кончиков пальцев, а потом железным ломом бьет прямо за грудину.

Твою мать, — успевает подумать мой стерильный, холодный мозг хирурга. — Это не инфаркт. Одышка... Воздуха нет. Тромбоэмболия. Тромб в легочной. Из подколенной вылетел, сука...

Я пытаюсь сделать вдох, но легкие, которые я только что чужими руками заставил дышать на столе, в моем собственном теле отказываются работать. Воздух застревает в горле комом. Ноги мгновенно превращаются в вату. Кафель коридора стремительно летит мне навстречу.

— Герман Герасимович?! Шеф! — доносится откуда-то издалека, словно сквозь толщу воды, истошный крик Артура.

Я слышу, как с грохотом падает металлический столик. Слышу быстрый, частый топот ног. Хлопает дверь операционной.

— Катарекс сюда! Кислород! Реанимационный набор! На стол его, быстро! — орет зав отделением.

Их голоса становятся тише, превращаясь в невнятное шипение старого радиоприемника. Я лежу на боку, уткнувшись щекой в холодную плитку. Мой профессиональный взгляд фиксирует: сознание угасает из-за острой гипоксии мозга. Время пошло на секунды. Сейчас они начнут непрямой массаж, сломают мне ребра... Но при центральной ТЭЛА это бесполезно. Без экстренной эмболектomie — труп. А накрыть второй стол они физически не успеют.

Какая глупая, неанатомичная смерть... — мелькает последняя, кристально чистая мысль.

Звуки исчезают полностью. Монитор моего собственного сердца выдает длинный, непрерывный писк. Черный занавес падает, отсекая меня от величайшего триумфа российской медицины.

Я проснулся от того, что меня рвало.

Рвало долго, мучительно, какими-то кислыми остатками непереваренной травы и гнилой воды. Каждое сокращение диафрагмы отзывалось такой дикой болью в ребрах, словно по мне проехался грузовик.

— Живой, гляди-ка, оклемался прыщ... — проскрипел над ухом чужой, прокуренный и невероятно хриплый голос.

Я попытался открыть глаза, но веки словно склеили клеем. Кожу лица стянуло, пахло псиной, сыростью и густым, удушливым ароматом конского навоза вперемешку с дешевым табаком-самосадом.

— Слышь, Сашка, вставай, нечего тут дрыхнуть. Митька придет — шкуру спустит, коль мешки к барже не перетаскаешь, — кто-то грубо пнул меня носком разбитого сапога прямо в ребра.

Я хрипнул. Боль была абсолютно настоящей, острой, соматической. Попытался поднять руку, чтобы нащупать сонную артерию и проверить пульс, но рука... рука не послушалась. Она была тонкой, как сухая ветка, покрытая слоем въевшейся черной грязи и какими-то зудящими болячками.

Где я? Какая баржа? Какой Сашка?

Я заставил себя сесть, преодолевая головокружение. Глаза наконец сфокусировались.

Над головой были серые, прогнившие доски низкого навеса. Вокруг — грязная солома, на которой копошились какие-то люди в рваных, серых кафтанах и обмотках вместо обуви. Прямо передо мной стоял мужик с включенной бородой, в опорках на босу ногу, с лицом, изрытым оспинами. Он держал в руке пеньковую веревку и смотрел на меня с тупым, привычным равнодушием скотовода.

Я посмотрел на свои ладони. Маленькие. Тонкие кости. Кожа на суставах потрескалась от холода и работы, ногти обломаны под корень, под ними — чернота. Никаких следов тридцатилетнего ухода за руками хирурга. Никакой стерильности.

Я резко схватил себя за запястье, нажимая пальцами на лучевую артерию. Пульс был частым — под сотню ударов, нитевидным. Сердце колотилось в грудной клетке, как пойманная птица. И эта грудная клетка была узкой, неразвитой, с торчащими ребрами дистрофика.

Этого не может быть. Это делирий. Кислородное голодание мозга после остановки сердца дает стойкие галлюцинации, — судорожно начал рассуждать мой разум. — Я сейчас лежу на полу в коридоре института, Артур качает мне грудину, а анестезиолог вводит адреналин в центральный катетер. Это просто сон перед окончательной смертью коры.

— Ты чего zenки вылупил, дурной? — мужик замахнулся веревкой. — А ну пошел к каналу, лодки с рыбой причалили, разгружать помогай, сопля!

Он дернул меня за шиворот. Тряпье, бывшее когда-то рубахой, треснуло. Я вылетел из-под навеса прямо в грязь.

Холодный, пронзительный ветер с водой и крупой мелкого снега ударил в лицо. Я поднялся на карачки, отплевываясь от жирной, вонючей жижи. Вокруг возвышались купеческие лабазы из красного кирпича, стояли тяжелые деревянные телеги, запряженные лохматыми лошадьми, а вдали, за пеленой тумана, угадывались очертания огромного моста с витиеватыми чугунными перилами и купола соборов с непривычными, сужающимися шпилями.

На вывеске ближайшего кабака было крупно, с грубыми ошибками начертано: **«Распівочная купца Полуэктова»**. С ятем на конце.

Я стоял на коленях в грязи девятнадцатого века. И судя по состоянию этого тела, шансов выжить в нем у меня было значительно меньше, чем у того парня, которому я только что пересадил легкие.

Глава 2. Линия излома

Голод в пятнадцатилетнем теле ощущался не так, как в моем прошлом, сытом пятидесятилетнем возрасте. Это была не просто мысль об обеде, а тупая, грызущая изнутри животная тоска. Каждый шаг по раскисшей глине Обводного канала отзывался дрожью в коленях. Извозчики орали, хлестали лошадей, тяжелые телеги увязали по самые ступицы в жирной черной грязи. Пахло речной сыростью, дегтем и тухлой рыбой.

— Шевелись, заморыш! — рывкнул сзади Митрич, дюжий мужик в промокнувшем насквозь армяке.

Он легко пер на плече огромное сосновое бревно, от которого шел густой пар. Я же тащил обрубок поменьше, и мои истощенные ребра, казалось, вот-вот треснут под этим весом. Физиология — упрямая штука. Твое сознание может быть трижды гениальным, но если в мышцах нет гликогена, ты просто кусок слабеющего мяса.

Мы разгружали баржу с лесосплавом. Причал гудел от матерщины и криков. Серое петербургское небо сыпало мелкой, колючей крупой.

Вдруг сверху, с шатких деревянных сходней, раздался треск.

— Берегись! Бревна пошли! — истошно заорал кто-то на палубе.

Толпа портовых грузчиков брызнула в стороны. Я инстинктивно упал на живот, закрывая голову руками. Раздался глухой, страшный удар, следом — тяжелый хруст, какой бывает, когда ломают сухую толстую ветку. И сразу же — пронзительный, нечеловеческий крик.

Я вскочил. Бревно, сорвавшееся со стопора, скатилось по настилу и намертво прижало ногу Митрича к причальному столбу. Мужики оцепенели. Сам пострадавший завалился набок, его лицо в один миг стало землисто-серым, губы посинели от болевого шока.

— Навалились! Быстро! — крикнул я, теряя образ забитого Сашки. В этот момент во мне проснулся заботделением, привыкший командовать на экстренных поступлениях.

Мой тон был настолько резким и чужим для этого места, что трое ближайших работяг подчинились без рассуждений. Они уперлись плечами, сдвинули бревно в сторону.

Я упал на колени рядом с Митричем. Свирепый портовый мужик сейчас скулил, как побитый пес. Его правая штанина из грубой мешковины разорвалась, и из нее торчал белый окровавленный обломок большой берцовой кости. Из раны толчками, пульсирующей струей била темная, почти черная кровь.

Повреждена крупная артерия. Смерть от кровопотери наступит минуты через три-четыре, — мгновенно оценил ситуацию мой внутренний мозг.

Вокруг уже собиралась толпа. Зеваки крестились, кто-то советовал приложить подорожник, кто-то кричал, что надо бежать за цирюльником.

— Назад! Воздуха дайте! — гаркнул я на толпу. — Ты, — я ткнул пальцем в парня постарше, — тащи чистую воду. Живо!

Сам я сорвал с пояса Митрича его же пеньковую подпояску. Жгутов Эсмарха здесь, понятно, никто не слышал. Мне нужно было остановить этот фонтан. Я обернул веревку вокруг бедра Митрича, чуть выше колена, завязал свободным узлом. Выхватил у стоявшего рядом мужика толстую щепку, продел ее под веревку и начал крутить.

Это называется закруткой. Простейший способ прижать бьющийся сосуд к кости, когда под рукой ничего нет. С каждым поворотом щепки струя крови становилась слабее. На четвертом обороте кровотоечение остановилось. Митрич хрипел, его лоб покрылся крупными каплями холодного пота.

— Держи палку, крепко, не вздумай отпустить, иначе он умрет, — приказал я парню, который притащил в грязном ведре воду из канала.

Вода была сомнительной чистоты, но выбирать не приходилось. Оставлять открытую рану с куском кости в этой жиже — гарантированный антонов огонь, то есть гангрена. Я аккуратно, стараясь не касаться краев раны грязными пальцами, смыл основную грязь.

Теперь — фиксация. Если оставить кость болтаться, обломки при любом движении разорвут остатки мышц и сосудов.

— Дай две доски. Вон те, плоские от ящика, — скомандовал я.

Мужики смотрели на мои действия с суеверным страхом. Пятнадцатилетний оборванец Сашка, который обычно только получал затрещины, сейчас действовал с пугающей, хладнокровной уверенностью. Пальцы мои, хоть и были худыми и неловкими, вспомнили старую госпитальную практику военно-полевой хирургии.

Я приложил доски с двух сторон к покалеченной голени Митрича. Нам нужна была шина, чтобы полностью обездвижить суставы выше и ниже перелома. Своей собственной рваной рубахой, раздирая ее на длинные полосы, я плотно примотал дерево к ноге. Митрич разок вскрикнул и потерял сознание. Это было даже к лучшему — естественный наркоз.

Когда я закончил, нога была жестко зафиксирована, а кровотечение полностью остановлено. Я сидел в грязи, тяжело дыша, мои руки были по локоть в чужой теплой крови. Полное отсутствие антисептиков. Никакого хлоргексидина, никакого спирта. В рану сто процентов попала инфекция, и теперь всё зависело от того, насколько крепок иммунитет этого мужика и куда его повезут.

Толпа расступилась. К месту происшествия протиснулся надсмотрщик пристани — грузный купец в дорогой лисьей шубе и высоких сапогах. Его звали Степан Игнатьич. Он оглядел неподвижного Митрича, затем посмотрел на шину из досок и, наконец, перевел взгляд на меня.

— Это ты что ль его так разукрасил, щегол? — пробасил купец, хмурая густые брови.

— Жизнь ему спас, Степан Игнатьич, — угрюмо ответил я, поднимаясь на ноги и вытирая ладони о штаны. — У него кость сломана и жила лопнула. Если бы не закрутка, он бы до вашего прихода весь вытек. Его в больницу надо, немедленно. Нogu не развязывать, палку из веревки не вынимать, пока лекарь не придет.

Купец подошел ближе, носком сапога осторожно потрогал доску на ноге грузчика. Митрич дышал ровно, хоть и выглядел бледно.

— Ишь ты... — Степан Игнатьич удивленно качнул головой. — Откуда умеешь, малец?

— У прозекторских столов ошивался, — соврал я первое, что пришло в голову. — Видел, как ученые немцы делают.

Купец хмыкнул, залез во внутренний карман шубы, долго там шуршал и протянул мне маленькую, тускло блеснувшую монетку. Гривенник. Серебряный.

— На вот, за сметливость. А Митрича в телегу и к Обуховской везите, пусть там с ним разбираются, — распорядился он.

Мужики подхватили раненого. Я стоял на причале, сжимая в грязном кулаке свою первую заработанную монету. Это был крошечный, но все же капитал. Теперь у меня была возможность купить хотя бы буханку чистого хлеба и кусок дешевого мыла. Мой первый бой за чужую жизнь в этом веке закончился победой, но я понимал: это лишь временная передышка. Медицина этого времени была слепа, и мне придется строить ее заново, буквально с самых низов.

Глава 3. Медный грош

Серебряный гривенник приятно охлаждал ладонь, но не мог согреть пустой желудок. Я шел по набережной Обводного канала, сутулясь от пронизывающего невского ветра. Мелкая ледяная крупа секла лицо. Новое тело слушалось плохо: мышцы ныли после перетаскивания бревен, а пальцы, испачканные в подсохшей крови Митрича, окоченели так, что я едва перебирал ими.

Для начала нужно было решить базовую задачу любого живого организма — найти углеводы и белки. В моем времени люди забыли, что такое настоящий, животный голод. Здесь же он правил бал.

Я свернул в узкий, пахнувший помоями переулок и наткнулся на лавку с вывеской «Хлебная торговля». За прилавком сидел толстый мужик в засаленном фартуке.

— Чего тебе, оборванец? — буркнул он, оглядев мое тряпье.

Я молча положил на прилавок серебряную монетку. Отношение торговца изменилось мгновенно. Он прищурился, проверил гривенник на зубок, кивнул сам себе и вытащил из-под навеса тяжелую, черную буханку ржаного хлеба и кусок липкого серого сахара.

— Держи, малец. Да сдачи три копейки меди. Проваливай.

Я забрал добычу. Хлеб был тяжелым, с кисловатым, невероятно густым запахом настоящего зерна, без всяких современных разрыхлителей и химии. Я отошел за угол, привалился к холодной кирпичной стене лабаза и впился зубами в корку. Жевать было трудно — десны кровоточили от цинги, которая явно начиналась у этого подростка из-за скудного рациона. Но с каждым проглоченным куском по телу разливалось блаженное, тупое тепло. Физиология брала свое. Мозг, наконец, получил глюкозу и начал соображать четче.

Теперь — гигиена. Мой внутренний хирург кричал от ужаса, глядя на слои грязи под ногтями и чесоточные бляшки на запястьях. В таком виде меня не пустят ни в одно приличное место, не говоря уже о больнице. На оставшуюся медь я купил в москательной лавке кусок самого дешевого, темного и вонючего дегтярного мыла. Деготь — отличный природный антисептик. Для начала сойдет.

Где помыться? Настоящая баня стоила денег, которых у меня не осталось. Пришлось спуститься к самой воде у глухой баржи, где не было извозчиков. Вода в канале была ледяной, сводило судорогами пальцы. Сжав зубы, я докрасна растер лицо, шею и руки этим мылом, смывая грязь трущоб и чужую кровь. Кожу нещадно щипало, но когда я закончил, почувствовал себя чуть больше человеком и чуть меньше животным.

Ночевать пришлось возвращаться на Сенную, в ту самую грязную ночлежку купца Полуэктова, откуда меня утром выпнул староста. Бездомному подростку в вечернем Петербурге идти было просто некуда — патрульные жандармы сразу загребли бы в участок за бродяжничество.

В ночлежке стоял тяжелый, спертый дух. На нарах, прижавшись друг к другу, спали десятки рабочих, нищих и мелких воришек. В углу кто-то надсадно, лающе кашлял. Я примостился на самом краю деревянного настила, подложив под голову остаток буханки, завернутый в чистую тряпицу.

— Слышь, ополоснулся, что ль, чумной? — раздался сбоку негромкий женский голос.

Я повернул голову. На соседних нарах сидела девушка. На вид ей было года семнадцать. В полумраке я разглядел бледное лицо с тонкими, резкими чертами, темные растрепанные волосы и глубокие, почти злые глаза. На правой щеке белел старый, неровный шрам — след от какого-то глубокого пореза, который заживал без швов, стянув кожу. Одетая она была чуть лучше остальных — в плотную, хоть и латаную кацавейку, а рядом с ней стояла большая кор-

зина, прикрытая мешковиной, от которой пахло сушеной ромашкой, мятой и какими-то горькими кореньями.

— Мыло — лучший друг человека, — тихо ответил я, стараясь говорить проще, чтобы не вызвать подозрений своим «профессорским» языком. — Грязь болезни разводит.

Девушка хмыкнула, оглядев мои чистые по сравнению с остальными руки.

— Ишь ты, умник. Болезни от грехов да от дурного глаза бывают, а не от земли. Земля — она святая. Я вот Марфа, травками торгую на рынке. А тебя как звать? Сашкой вроде кликали?

— Александр, — машинально поправил я, но тут же исправился: — Да, Сашка.

— Слыхала я, Сашка, как ты сегодня Митричу на лесопилке ногу скрутил. Мужики болтают, будто ты колдун малолетний — кровь взглядом остановил и кости заговорил.

— Меньше слушай мужиков, — я вздохнул, устраиваясь поудобнее на жестких досках. — Никакого колдовства. Обычное прижатие артерии. Если бы не шина, он бы до больницы живым не доехал.

Марфа посмотрела на меня с прищуром. В ее взгляде не было суеверного страха, скорее — жгучее, настороженное любопытство. Она явно не привыкла видеть среди сенновских обрванцев парней, которые рассуждают так спокойно и уверенно.

— Артерия... Слова-то какие знаешь, — проворчала она, отворачиваясь к стене. — Ладно, спи, анатом. Завтра Митька Хмурый придет, он тебе быстро твою спесь собьет, если на работу не выйдешь.

Я закрыл глаза. Спать вповалку с чужими людьми под аккомпанемент туберкулезного кашля было невыносимо для человека из двадцать первого века. Но это была моя реальность. Медный грош в кармане, кусок мыла и грязные нары — вот и весь мой стартовый капитал. Чтобы пробиться к нормальной медицинской практике, мне нужно было сначала доказать этому городу, что я имею право просто дышать с ним одним воздухом.

Глава 4. Законы Сенной площади

Сенной рынок не просто спал — он хрипел, чесался и смердел. Утренний туман, поднимавшийся от Фонтанки, смешивался со сладковатым дымом дешевого табака-самосада и кислым перегаром. Обитатели ночлежки Полуэктова поднимались неохотно, со стонами и матерщиной. Здесь, на самом дне альтернативного Петербурга, люди делились на две категории: «рабочие», которые гнули спину на фабриках и пристанях за копейки, и «фартовые» — те, кто жил за счет чужих карманов и ножей.

Я еще толком не успел разобраться в местной географии, но мой мозг пятидесятилетнего хирурга быстро фиксировал детали: этот город был жестче, грязнее и куда более расслоенным, чем в учебниках истории.

— Эй, Сашка! Чего разлеся, барин? — надсадно гаркнул староста ночлежки, швыряя в мою сторону грязную тряпку. — Митька Хмурый на дворе. Всем орлам его команды — строиться. Кто проспит — пайку не получит.

Я поднялся с нар. Тело Сашки отозвалось тупой болью в мышцах — вчерашняя разгрузка бревен давала о себе знать. Марфы на соседних нарах уже не было, только едва уловимый запах сушеной мяты напоминал о том, что она сидела рядом. Я сунул остаток ржаного хлеба за пазуху и вышел на крыльцо.

Двор ночлежки, окруженный глухими кирпичными стенами, был похож на капкан. В центре, у корыта с грязной водой, стоял Митька Хмурый. Это был мужчина лет тридцати, с тяжелой челюстью, рябым лицом и мертвыми, абсолютно спокойными глазами человека, который не раз переступал через черту. На нем был добротный суконный кафтан и смазные сапоги — невиданная роскошь для здешних мест. Вокруг него крутились «шестерки» — малолетние карманники и наводчики. Они заглядывали Митьке в рот, ловя каждое слово.

Хмурый держал в руках плетеную нагайку и лениво постукивал ею по своему голенищу.

— Так, шпана, — процедил Митька, оглядывая нас, заспанных и голодных подростков. — Сегодня на Сенном рынке большой подвоз. Торговцы с товаром пойдут, купцы с мошной. Жорка, перо в карман и на перехват. Ты, Косой, ширму держишь. А ты... — его взгляд остановился на мне. Несколько секунд он разглядывал мою чистую шею и умытое лицо. — Ты чего это, Сашка, моду взял мыться? Никак в благородные записался?

По двору прокатился глумливый хохот малолеток.

— Вчера на Обводном кости мужику правил, — встрял один из карманников, сдавая меня с потрохами. — Купец ему серебром отсыпал.

Митька медленно двинулся в мою сторону. Шаг у него был мягкий, кошачий. Каждая мышца этого тела выдавала профессионального бойца трущоб. Я внутренне напрягся, оценивая свои шансы в теле истощенного пятнадцатилетнего парня. Шансы стремились к нулю. Против лома и нагайки анатомические знания бессильны, если у тебя нет рычага или оружия. Придется играть по их правилам, пока я не окрепну.

— Серебром, говоришь? — Хмурый остановился в полушаге от меня. От него пахло чесноком и сырой кожей. — А почему доля в общак не занесена? Ты под кем ходишь, щегол? Кто тебя от жандармов прикрывает, когда ты по карманам шныряешь?

— Я по карманам не шныряю, Митька, — спокойно, глядя ему прямо в глаза, ответил я. — Мужика бревном придавило, я кровь остановил. Купец за работу дал гривенник. Я на него хлеба купил и мыла. Денег больше нет.

Митька прищурился. Мой спокойный, лишенный привычного рабского страха тон его озадачил. Обычно беспризорники перед ним лебезили или скулили. Он поднял нагайку, коснулся кожаным концом моего подбородка, заставляя задрать голову.

— Дерзкий стал. На лекаря выучился? — он внезапно перехватил нагайку и наотмашь ударил меня по ребрам.

Боль вспыхнула - резкая, ослепляющая. Я согнулся, хватая ртом воздух, но удержался на ногах, не упав в грязь.

— Слушай меня сюда, костоправ, — тихо, почти ласково сказал Митька, наклоняясь к моему уху. — Завтра чтоб тридцать копеек меди принес. Мне без разницы, где ты их возьмешь — украдешь, выменяешь или издохлой кошки вырежешь. Не принесешь — я тебе твои собственные пальцы переломаю так, что ложку держать не сможешь. Понял?

Я с трудом выпрямился, сжимая зубы, чтобы не выдать стона. Под кожей на ребрах уже наливалась гематома, но, к счастью, ребра были целы — удар пришелся по касательной.

— Понял, — выдавил я.

— Вот и ладно. А теперь пошел вон со двора, чтоб глаза мои тебя не видели. Работнички, мать вашу... — сплюнул Хмурый и отвернулся, теряя ко мне интерес.

Я медленно пошел к воротам, чувствуя на себе сочувственные и злорадные взгляды трущобной братии. Жить в Вяземской лавре и не платить бандам было невозможно — тебя либо прирежут в подворотне, либо сдадут полиции при первом удобном случае. Тридцать копеек — для беспризорника это были огромные деньги. Заработать их честным трудом на пристани за один день было почти нереально, особенно с отбитыми ребрами.

Нужно было срочно искать легальный и безопасный выход из этого ада. Город вокруг меня жил своей жизнью: звенели колокола церковей, грохотали колеса первых паровых конок, приличная публика в шинелях и пальто спешила по делам. А я шел вдоль серых заборов, придерживая рукой ноющий бок, и думал лишь об одном: где найти медицинскую практику, которая даст мне защиту от местных уголовников.

Ноги сами вынесли меня к Обуховской больнице — огромному, мрачному зданию с длинными рядами полукруглых окон. Здесь пахло карболкой, сыростью и безнадежностью. У ворот толпились бедняки, ожидая бесплатного приема, который велся всего пару часов в день.

Я подошел к боковой двери, над которой висела потемневшая медная табличка: **«Анатомический театр и покой для умерших»**.

Возле входа сидел на перевернутом деревянном ящике старик в рваном сюртуке и курил короткую глиняную трубку. Рядом с ним стояло ведро с мутной водой и лежала грязная половая тряпка. Старик выглядел изможденным, его дыхание было тяжелым, с хрипами — явная эмфизема легких.

— Чего надо, малец? — прохрипел он, заметив меня. — Живым тут делать нечего, а мертвые не разговаривают.

— Работать хочу, — прямо сказал я, кивая на ведро. — Слышал, вам служитель нужен. Столы мыть, полы драить, воду носить.

Старик удивленно затаился, закашлялся, сплюнул темную слюну под ноги.

— Работать? В трупорезку-то? Да отсюда всякая шваль бежит через три дня — вони не выдерживают да покойников боятся. Прозектор у нас, барон фон Шнитке, лютей немец. За любую соринку на полу плетью грозит.

— Я вони не боюсь. И покойников тоже, — я злое улыбку, глядя на темную дверь. — Покойники — они смирные. От них вреда меньше, чем от живых в Вяземской лавре. Поговори со старостой, дед. Мне работа нужна. Очень.

Старик долго смотрел на меня своими слезящимися глазами, словно пытался разглядеть, что прячется за этим детским, но пугающе серьезным лицом. Затем выколотил трубку о подошву своего опорка и поднялся.

— Ладно, малец, пойдем. Посмотрим, насколько у тебя кишка не тонка. Как раз сегодня ночью три привоза из сыскной, Шнитке орать будет, что рук не хватает...

Мы шагнули в прохладную, пахнущую формалином и гниющим белком темноту анатомического театра. Мой старый мир возвращался ко мне, пусть и в таком диком, первобытном виде.

Глава 5. Прозекторская и цена долга

Внутри анатомического театра Обуховской больницы пахло так, что у нормального человека через минуту начался бы спазм желудка. Смесь едкого формалина, дешевого уксуса, которым пытались сбить вонь, и тяжелого, сладковатого духа разлагающейся плоти. Но для моего обоняния это был запах работы. Родной, привычный, пусть и в самой дикой своей вариации.

Дед курил трубку прямо в коридоре, кашляя в кулак. Его звали Никифорыч. Он швырнул мне старый, пропитанный жиром кожаный фартук и тяжелую деревянную колоду с набитой на нее свиной щетиной.

— Вот тебе инструмент. Твоя задача — смывать кровь и жир со столов после того, как барон закончит. Воду таскать из колодца во дворе. На один стол — два ведра чистой. Если немец увидит хоть один подтек на мраморе, вылетишь без расчета. Платят копейку в день. Еду из больничной кухни дают — щи пустые да кашу. Жить можешь в каморке под лестницей, там суше, чем в ночлежке.

Копейка в день. Завтра Митька Хмурый ждет тридцать копеек. Математика моей новой жизни была паршивой, но каморка под лестницей и статус служителя при больнице — это уже был крошечный плацдарм.

Дверь секционного зала со скрипом отворилась. Из нее вышел сам барон фон Шнитке. Я сразу замер у стены, опустив глаза, как и полагалось беспризорнику, но мой взгляд профессионала мгновенно зафиксировал детали через его действия.

Шнитке был высоким, подтянутым мужчиной в безупречном немецком сюртуке, поверх которого был надет испачканный бурыми пятнами клеенчатый передник. Он брезгливо вытирал пальцы шелковым платком. Его холеные бакенбарды были аккуратно подстрижены, а на носу поблескивало золотое пенсне. Прозектор даже не посмотрел в мою сторону. Для него я был деталью интерьера, вроде швабры или ведра.

— Никифорыч! — голос барона был резким, с сильным немецким акцентом. — Почему в зале до сих пор не убрано? Привезли утопленника из Фонтанки. Живо соскоблить старый жир! И подать мне чистые ножи. Те, что на малом столе, зазубрились, как пила для дров. Олухи!

Он швырнул платок в корзину для грязного белья и быстрыми шагами удалился в свой кабинет, захлопнув дверь.

Я зашел в секционный зал и чуть не выругался вслух. То, что здесь называлось «передовой наукой», в моем понимании было бойней. Посреди комнаты стояли три массивных мраморных стола с глубокими желобами для стока жидкостей. На одном из них лежали остатки несчастного, которого вскрывали утром.

Никакой стерильности. Инструменты — тяжелые, грубые скальпели с костяными ручками, пилы с широкими зубьями — лежали прямо на деревянном неструганом лотке. На ручках въелась старая, засохшая кровь предыдущих секций. Никто их не кипятил. В лучшем случае — протирали грязной ветошью. Местные врачи понятия не имели об антисептике. Они резали трупы, а потом теми же руками, не мыв их, могли пойти принимать роды или осматривать живых пациентов в палатах. Теперь мне стало ясно, почему смертность в здешних госпиталях была катастрофической. Люди гибли не от болезней, а от рук самих лекарей, разнесших заразу.

Я сжал зубы, набрал ведро ледяной воды и принялся за работу. Щетка скребла по мрамору, смывая бурые потоки. Спина Сашки начала ныть уже через полчаса. Тело требовало отдыха, но я заставлял себя двигаться экономно, выверяя каждое движение, чтобы сберечь силы.

К вечеру зал был убран. Никифорыч проверил работу, одобрительно крикнул и выдал мне плошку ледяной пшенной каши на постном масле. Это был мой первый легальный паек.

Я съел его в своей новой каморке под лестницей, чувствуя, как тепло медленно расходится по уставшим конечностям.

Но радоваться было рано. Наступили сумерки, а вместе с ними пришло время платить по счетам Вяземской лавры.

Я понимал, что бежать бессмысленно — банда Митьки найдет меня и при больнице, если захочет. Нужно было пойти и честно сказать, что денег нет, но теперь у меня есть постоянная работа. Возможно, это изменит статус.

Я вышел за ворота Обуховской и направился в сторону трущоб. Город погружался в сырую, туманную ночь. Газовые фонари горели тускло, выхватывая из темноты силуэты редких прохожих.

Они подкараулили меня у подступов к Сенному рынку, в глухом переулке между двумя глухими заборами. Из тени бесшумно соткались трое: Жорка-карманник и двое крепких парней постарше, из постоянных молодчиков Хмурого.

— Опачки, костоправ идет, — ухмыльнулся Жорка, поигрывая в руке короткой деревянной дубинкой. — Ну что, Сашок, принес медяки для Митьки? Или опять про жилы лопнувшие плести будешь?

— Денег нет, — спокойно ответил я, останавливаясь и балансируя на ногах, чтобы успеть сгруппироваться. — Я устроился в Обуховскую больницу. Служителем. Через месяц будет расчет, тогда и отдам.

Парни переглянулись и весело, зло расхохотались.

— Через месяц? — Жорка шагнул ближе, его глаза сузились. — Митька слов на ветер не бросает, щегол. Сказано завтра — значит, сегодня ночью деньги должны быть у нас. Нет монеты — получай расчет на месте.

Первый удар дубинкой пришелся мне прямо по плечу. Я успел повернуться боком, смягчая траекторию, но боль все равно обожгла сустав. Трупные токсины, тяжелая работа, истощение — тело Сашки отреагировало медленно. Следующий удар под дых свалил меня на грязную, покрытую ледяной коркой землю.

Они били молча, методично, со знанием дела. Не для того, чтобы убить — мертвый безпризорник дохода не приносит — а чтобы сломать волю и проучить. Сапоги вбивали меня в жидкую грязь переулочка. Я свернулся калачиком, пряча голову в локтях и закрывая руками самое ценное, что у меня оставалось — пальцы. Хирург без рук — это труп. Пусть бьют по ребрам, по ногам, только не по кистям.

— Будешь знать, как барина из себя строить, мытыш! — выдохнул один из парней, напоследок наступив мне тяжелым опорком на голень.

Они перевернули меня лицом вверх. Жорка наклонился, сплюнул рядом с моей щекой.

— Через три дня Митька сам придет. Не будет полтины — уже за просрочку — пальцы в обратную сторону вывернем. Усек?

Они ушли так же бесшумно, как и появились. Я остался лежать в грязной жиже, слушая, как в ушах нарастает тяжелый, частый звон.

Так... переломов ребер вроде нет, дыхание ровное, хоть и болезненное, — начал привычный внутренний аудит мой мозг. — Гематомы будут огромные. Суставы целы. Жить буду.

Я с трудом, цепляясь за склизкие доски забора, поднялся на карачки. Лицо было разбито, изо рта текла солоноватая кровь. Каждое движение отзывалось адской вспышкой боли во всем теле. Кое-как, шатаясь и придерживая рукой отбитый бок, я побрел обратно в сторону больницы.

Этот мир не прощал слабости и не давал скидок на прошлые заслуги. Хирург мирового уровня Герман Герасимович сейчас был просто избитым куском мяса в грязном питерском переулочке. И чтобы выжить, мне нужно было как можно скорее подняться выше этой грязи, используя единственное оружие, которое у меня никто не мог отобрать — мои знания.

Глава 6. Горькие травы

Я не помнил, как дополз до больничных ворот. Сознание то сужалось до размеров одной пульсирующей точки в разбитом виске, то расширялось, заставляя мир вокруг дико раскачиваться. Каждый вдох давался с хрипом — отбитые мышцы грудины спазмировались, не пуская воздух в легкие.

Никифорыч, слава богу, спал в своей сторожке и не видел, как я, цепляясь за холодный кирпич стены, проковылял мимо его окна к черному входу анатомического театра.

В каморке под лестницей было темно и сыро. Кое-как нащупав свою кучу тряпья, я повалился на нее прямо в грязном, пропитанном уличной жижей кафтане. Сил снимать обувь не осталось. Мой мозг, холодный и циничный инструмент, продолжал отсчитывать пульс — примерно сто десять, нитевидный. Классическая реакция на травматический шок средней тяжести. Главное — лежать неподвижно, чтобы не спровоцировать внутреннее кровотечение.

Ничего, вывезем... Руки целы. Самое главное — кисти уберёг... — это была последняя мысль перед тем, как я провалился в тяжелое, липкое беспамятство.

Проснулся я от резкого, бьющего в нос запаха. Пахло чем-то горьким, болотным, с сильной нотой распаренной хвои и сушеной полыни.

Кто-то осторожно, но настойчиво трогал мое плечо. Я дернулся, и всё тело тут же прошила такая острая волна боли, что из горла вырвался глухой стон.

— Лежи, дурной, не вертись, — раздался над ухом знакомый, ворчливый девичий голос.

Я с трудом разлепил опухшие веки. В каморке горела тусклая сальная свечка. На перевернутом ящике сидела Марфа. Ее лицо в неверном желтом свете казалось совсем бледным, а шрам на щеке потемнел. Она была в своей латаной кацавейке, с засученными по локоть руками. Рядом стоял глиняный горшок, от которого шел густой пар.

— Как ты меня нашла? — прохрипел я. Мой голос после ночи на сыром полу был похож на треск сухих сучьев.

— В Вяземской лавре у стен тоже уши есть, Сашка, — она зло прикусила губу, смачивая в горшке чистую холщовую тряпицу. — Жорка-гнида в кабаке Полуэктова уже вовсю хвастал, как они костоправа проучили. Прибежала к больнице, деда Никифорыча медяком умаслила, он и пустил. Думала, прирезали тебя. Они ж Хмурому слово дали.

Она без лишних церемоний дернула ворот моего кафтана, обнажая грудь. Я поморщился: кожа на ребрах и плече превратилась в сплошной багрово-черный кровоподтек. Марфа на мгновение замерла, ее пальцы дрогнули, но она быстро взяла себя в руки. Характер у девки был кремень — трущобы слабаков не растили.

— Сейчас жечь будет. Терпи, — коротко бросила она и припечатила горячую тряпку, пропитанную травяным отваром, прямо к моей разбитой груди.

Я сжал зубы так, что хрустнули челюсти, и мертвой хваткой вцепился пальцами в край настила. Глаза обожгло слезами. Травяная жижa жгла кожу, словно кипящее масло, но через минуту сквозь эту невыносимую гарь начало проступать странное, онемевшее облегчение. Боль стала тупее, уходя куда-то вглубь тканей.

— Что это? — выдохнул я, когда смог дышать.

— Багульник с окопником да смола лиственничная, — Марфа ловко сменила примочку на плече. Ее движения были быстрыми, уверенными, хотя в них не было той хирургической стерильности, к которой я привык. Она действовала по наитию, по дедовским рецептам. — Окопник кости держит, чтоб не гнили, а багульник дурную кровь разгоняет. У нас на Сенном рынке от такого лечения на третий день на ноги встают.

Я смотрел на ее профиль, на то, как она сосредоточенно хмурит брови, смывая грязь и сукровицу с моего лица. Мой разум пятидесятилетнего мужчины фиксировал парадокс: эта

неграмотная девчонка, торгующая кореньями на грязном рынке, сейчас делала то, чего здешняя официальная медицина делать не умела — она пыталась облегчить страдания, не калеча пациента. Местный прозектор Шнитке, небось, сразу пустил бы мне кровь или прописал рвотный корень, окончательно добивая истощенный организм.

— Спасибо, — тихо сказал я.

Марфа резко отстранилась, словно я её ударил. Взгляд ее стал колючим, настороженным.

— Ты мне тут «спасибы» свои брось, анатом. Думаешь, я по доброте душевной пришла? — она раздраженно швырнула тряпку обратно в горшок. — Ты мне живой надобен, а если банда Хмурого тебя до смерти забьет, кто моих баб на рынке от антонова огня спасать будет? Ты вчера Митрича отходил — весь Обводный гудит. Мне соратник нужен, который в ранах понимает, а не покойник под лестницей.

Она говорила резко, почти грубо, но её действия полностью противоречили её словам. Она бережно, стараясь не причинять лишней боли, помогла мне приподняться и протянула кружку с остатками отвара.

— Пей. Горько будет, зато уснешь.

Отвар действительно оказался горьким, как полынь, и пах болотом. Я выпил его до дна, чувствуя, как по пищеводу разливается тяжелое, одурманивающее тепло. Глаза начали слипаться сами собой. Природные алкалоиды — мощная штука, когда нет доступа к анальгетикам.

— Уходи, Марфа... — пробормотал я, засыпая. — Если Хмурый узнает, что ты мне помогаешь...

— Не узнает, — отрезала она, туша свечу пальцами. — Спи, костоправ. Завтра тебе столы мыть. Немец твой ждать не станет, пока у тебя ребра срастутся.

Темнота поглотила меня, но на этот раз это был не липкий кошмар, а глубокий, лечебный сон. Организм Сашки, подстегнутый горькими травами трущобной знахарки и собственным упрямством, начал медленный, тяжелый процесс восстановления. За всё в этом мире приходилось платить — и за право остаться человеком на дне, цена измерялась исключительно трудом и кровью.

Глава 7. Ведро и мрамор

Утро началось со скрипа дверных петель и резкого, надсадного кашля Никифорыча над самой моей головой.

— Вставай, Сашка, вставай, парень, — дед потерябил меня за плечо. — Барон уже в передней, карета его подкатила. Из сыскной ночной привоз, три тела. Шнитке злой как черт, кричит, чтоб вода в залах уже кипела.

Я открыл глаза. Травяной настой Марфы убрал острую, режущую боль, оставив вместо нее тупую, свинцовую тяжесть во всем теле. Каждое движение заставляло мышцы грудины натягиваться, словно сухие струны. Я медленно, сантиметр за сантиметром, перенес вес на локти, сел на краю настила и спустил ноги. Ссадина на виске запеклась черной коркой. Рубаха липла к спине там, где кожа лопнула под ударами сапог Жорки.

Главное — зафиксировать сустав. Мягкие ткани заживут, — скомандовал внутренний голос.

Я туго перевязал левое плечо остатком сухого холста, прижимая руку к туловищу, чтобы уменьшить амплитуду движений. Натянул кафтан. Рукав шел туго, пальцы слушались плохо, но я заставил их застегнуть медные пуговицы.

На больничном дворе колодезный ворот казался неподъемным. Каждое вращение чугунной ручки отзывалось резким прострелом в ребрах. Я наваливался на рычаг всем весом своего худого пятнадцатилетнего тела, перенося упор на здоровую правую ногу. Чугунное ведро, полное ледяной невиской воды, шлепнулось на брусчатку, расплескивая прозрачные капли.

— Чего копаешься, заморыш? — Шнитке вырос на крыльце анатомического театра внезапно.

Его трость с набалдашником из слоновой кости резко стукнула по гранитной ступени. Барон уже сменил уличный сюртук на свой неизменный клеенчатый передник. На его лице не было и следа усталости — только холодная, хирургическая сосредоточенность. Он мазнул брезгливым взглядом по моему распухшему лицу, по запекшейся крови на губе, но ничего не сказал. Синяки прислуги его не интересовали.

— Тащи воду в первый зал. И приготовь пилу для черепных костей. Живо!

Я подхватил два ведра. Пальцы левой руки онемели от холода и натяжения, веревочные ручки врезались в потрескавшуюся кожу до сукровицы. Я шел по длинному коридору, оставляя за собой мокрый след, и балансировал корпусом, чтобы не раскачивать разбитые ребра.

В первом секционном зале на мраморном столе уже лежало тело. Мужчина средних лет, извлеченный из воды, синюшный, со следами сильного разложения. Шнитке стоял у лотка с инструментами, лениво перебирая скальпели с костяными ручками.

— Никифорыч, фиксируй голову, — бросил барон, не оборачиваясь.

Старик-сторож привычно шагнул к оголовью стола, обхватив грязными, узловатыми пальцами виски покойника. Шнитке взял широкий анатомический нож. Без всяких перчаток, с засученными по локоть рукавами белой сорочки, он сделал первый быстрый разрез — от грудины до лобка. Из-под лезвия брызнула темная, застоявшаяся кровь вперемешку с болотной жижей. Запах мгновенно заполнил комнату. Никифорыч даже не поморщился, только закашлялся в сторону.

Я стоял у стены с половой тряпкой в руках, внимательно наблюдая за каждым движением барона. Мой внутренний хирург буквально кричал от того, что происходило на столе. Шнитке работал быстро, но невероятно грубо. Он не изолировал сосуды, не осматривал послойно ткани. Его нож кромсал плевру, вскрывая грудную клетку с глухим треском хрящей.

— Так... легкие раздуты, в альвеолах вода, — бормотал Шнитке на немецком, поворачивая брезгливое лицо к окну. — Классическое утопление. Пиши, Никифорыч, в журнал.

Барон потянулся к лотку, взял ампутационный нож и резким, размашистым движением рассек корень правого легкого. Мой глаз моментально выхватил скрытую деталь под слоем запекшейся крови у основания шеи утопленника. Там, где сонная артерия уходила под ключицу, виднелась четкая, ровная гематома — след от прижизненного сильного сдавления. Человека сначала задушили, а уже потом бросили в канал. Шнитке этого просто не заметил. Он механически вырезал органы, швыряя их в жестяной таз, который я держал на весу здоровой рукой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.